



наталья арбузова

город с названием  
ковров-самолетов

Самое время!

Наталья Арбузова

**Город с названием Ковров-  
Самолетов (сборник)**

«WebKniga»

2008

## **Арбузова Н. И.**

Город с названием Ковров-Самолетов (сборник) /  
Н. И. Арбузова — «WebKniga», 2008 — (Самое время!)

Герои Натальи Арбузовой врываются в повествование стремительно и неожиданно, и также стремительно, необратимо, непоправимо уходят: адский вихрь потерь и обретений, метаморфозы души – именно отсюда необычайно трепетное отношение писательницы к ритму как стиха, так и прозы. Она замешивает рифмы в текст, будто изюм в тесто, сбивается на стихотворную строку внутри прозаической, не боится рушить «устоявшиеся» литературные каноны, – именно вследствие их «нарушения» и рождается живое слово, необходимое чуткому и тонкому читателю.

## Содержание

ПРОВОДЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ	5
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Наталья Ильинична Арбузова

## Город с названием Ковров-Самолетов

### ПРОВОДЫ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

#### Мистическая повесть

Тысячелетье задержалось на дворе. Медлило, не хотело уходить. Решило ждать второй волны нюрнбергских судов, на сей раз в Москве, ждать хотя бы целую вечность. Дождалось – тяжело треснул грязный лед и пошел лавиной. В апреле 2001 года международные суды над коммунистической тоталитарной идеологией открылись. Шли, набирали обороты. В последний раз мир застыл в тревожном молчанье, оборотясь к рубиновым кремлевским звездам – им осталось светить считанные дни над уже закрытым мавзолеем.

Я пишу это в 1999-м трудном году. Коммунистический переворот поначалу норовил поставить три его невинные девятки с ног на голову, оборотив в число апокалиптическое. Вернее всего, суды к легкомысленно назначенному мною сроку не успеют. Уж не знаю, выйдет ли и книга к этому времени. Я бы не хотела без конца ее переделывать, как Фадеев «Молодую гвардию». Так что, если тебе не трудно, любезный читатель, сдвинь все даты в тексте, привязав к открытию судов – неминуюемо грядущему дню. Надеюсь, мы с тобою вместе возрадуемся и возвеселимся в онь, провожая затянувшееся тысячелетье.

Итак, суды начались. Мой герой, или героиня – пока вижу неясно в ореоле клонящегося к закату апрельского солнца – шел, шла по такому поводу на Автозаводскую улицу встретиться с немногими не уехавшими из России диссидентами, а может статься, и с кем-то из ненадолго приехавших назад. Неведомое мне существо, претендующее на заглавную роль в наклеиваемой книге, так явственно ворчало про себя, что мне было слышно: «Ну да, диссидентская-то эмиграция была встречена на ура. Уж до всех дошло, на что она замахнулась. Еврейская эмиграция тянулась в США вместо Израиля под опекой еврейских общин – на всем пути. Белой эмиграции ничто в зачет не шло. Спали по очереди в одной постели, один работал в ночь шофером, другой днем счетоводом. Какие там шарманки». Оно усмехнулось горькой усмешкой, вспоминая, как в начале перестройки дикторы «Немецкой волны» говорили обиженным тоном, ревнуя нас к нашей юной гласности. Как при уже настевшей открытых границах какой-то человек в Санкт-Петербурге сам себе слал оскорбительные письма, чтобы получить статус беженца с бесплатной медицинской страховкой. Будто мало ему было реальных оскорблений. Разные времена, разные лики долгой российской невзгоды.

Вот оно, неясное порождение моей фантазии, стало как будто искать подъезда, засомневалось, обернулось. Тут лучи вечерние сложились веером и упали – солнце закрылось весенней тучкой. Я отчетливо увидела моего героя в застывшем прозрачном воздухе. И тотчас он исчез, вошел в подъезд. Но я о нем уже много чего знала, успев настроиться на его волну.

Он – это он, лицо мужеска пола, это я доподлинно разглядела – ждет лифта. Стою на апрельской улице, слушаю его мысли. Думает о том, что в этот поздний период цивилизации человеку везде неуютно. Пойдешь туда – а там другая беда. Жизнь белки в колесе. Отлученье не только что от России, но ото всего неторопливого девятнадцатого века, запах которого всеми правдами и неправдами задержался именно здесь, как в фарфоровой банке из-под чая. В Германии бидермайер давно выветрился. Зато на Брайтон-Бич, бубнит он себе под нос, филиал Одессы. Говорят по-русски, не ассимилируются. Учат, стригут, бреют, обшивают и обмывают друг друга привычным местечковым манером, баловни демократии. Едет в лифте и продол-



жают бурчать. Даром, что теперь открыто окно уже не в Европу, а в мир. Из этого окна нещадно тянет космическим холодом, как в «Земляничном окошке» Рея Брэдбери или в нашем «Солярисе». Ему, истрепанному, нет места в мире, кроме этого. Кроме грязной улицы с коридором из милиционеров, по которому идут лавиной подростки в красно-белых шарфах со стадиона «Торпедо». Он звонит, говоря про себя: «...ночь расстрела и весь в черемухах овраг». Ему открывают, я слышу возглас – а, Нестреляев. Вот и фамилия наречена моему герою.

Глядь, ты сам спешишь мимо меня по Автозаводской улице, мой вовсе неведомый читатель, еще не проникшийся сочувствием к невзгодам Нестреляева. Сдаю тебе дежурство по апрелю и незримо вхожу в подъезд, над коим нависает сетка от валящегося на голову кафеля. Проникаю сквозь стену за героем моим в квартиру, где он бывал несчетное число раз в самые пестрые времена и где теперь не все дома – иных уж нет, а те далече. Ты же беги, беги дальше по Автозаводской улице, мой читатель, гонимый весенней лихорадкой. Я уж плету сеть уловить твою душу симпатией к своему депрессивному персонажу. Защищайся, не то придется тебе горевать над всеми его неурядицами много страниц подряд.

Он прекрасно понимает, о чем говорит, этот мой Нестреляев, имени-отчества пока не ведаю, когда поминает овраг в черемухах. Он знает досконально все об обоих вариантах, прописанных Набоковым. Старшее поколение его семьи частью расстреляно, частью эмигрировало. Ну-ка, посмотрим, что там у него в генетической памяти? Ого, всякая всячина. Залпы петровских пушек. Черная земля степных поместий. Тонкий почерк пожелтевших рукописей. Сам он – позднее семя позднего времени, но хорошее семя. Чудом рожденный и чудом выживший, он так явственно унаследовал весь ум и все таланты своей семьи, будто шопенгауэровский гений рода отыгрался на нем за всех уничтоженных. Ну и неврастеник он тоже, не без этого. И желчен, как видишь – терпи, читатель.

Он стоит, прислонившись к дверному косяку в тесно набитой комнате, озирается. Сколько раз, приходя в эту квартиру не на провода тысячелетия, а на провода получивших наконец разрешение на выезд друзей, подпирает он притолоку сутулой спиной, сумрачно размышляя: «Что же это, Господи, за страна такая, из которой все хотят уехать? Что это за дурнолюбимая страна? Всеми оставляемая, голодная, оборванная, униженная!»

Сам-то типичный *mal-aimé*. Вон сидит его бывшая жена, вечер испорчен. Сейчас придет и вторая, думает он обреченно. Легка на помине, вот и она. Не прошло и десяти минут. Уже сидят на диване чуть не обнявшись. Господи, как же он боится этих их душевных разговоров! Небось, всё его нестреляевское несовершенство всплывает в них, как в проруби. Тихо говорят, мучительницы. У них обеих и жизнь полегче, и покрепче психика. Они-то вынесут присутствие и его, и друг друга. Уходить ему. Но он еще медлит, из-за чужих спин разглядывает новые лица, сорокалетних, второе поколение диссидентов, беспощадных и уже не беззащитных насмешников. Тут видит двоих однокашников своих, ненадолго прилетевших из-за океана, что тратили тамошние нелегкие заработки на бесконечные телефонные разговоры и с ним, и со многими. Была не была – остается. Еврейская пасха, и маца на столе, на круглом столе конца сороковых годов, традиционном для диссидентского сборища – сборища презирающих быт людей.

Нестреляев немного приходит в себя на крохотной кухне. Там тоже набито битком – теснятся вокруг холодильника, заменившего в нынешних квартирах домашний очаг. Оттого и сердечная остуда, печально констатирует Нестреляев. На холодильнике рябит телевизоришка – трансляция судов. А, в комнате включили второй, побольше. Пробирается туда по урезанному стеллажами коридору, задевая плечом нагроможденные книги.

Еще какое-то время стоит с витающим видом, долговязый, длинномордый и темноглазый, ходячая медитация на двух ногах, потом садится вторым рядом вблизи стола. И скоро, исчезающе мало выпив, улетает всей своей подвижной, легковозбудимой душой к прежним временам. Ко временам опасности, надежд, товарищества, со своими ушедшими понятиями

– самиздат, голоса, подписанты, отказники. Поминают суды с искусственно заполненным залом, психушки с принудительным вредным якобы лечением. Еврейская пасха сливается в праздничном гаме с проводами тысячелетия и веселыми похоронами великой идеи.

Голодный Нестреляев отогрелся было, но уж вострит уши. Ему чудится, будто его косвенно вынуждают поступиться созидательными усилиями предков ради демократических ценностей. Демократия в обмен на территории. Вроде ленинского Брестского мира. Кто-то лет десять тому назад пришел к власти не с броневика, так с танка – в жестоко обкромсанной стране. Это Нестреляев уже кричит вслух. Ничего, нам хватит? Ошибаетесь. В нас генетически заложена потребность большого пространства. Сдача его обернется не просто кровью, но духовной катастрофой. Нестрелева весело затыкают. За державу ему обидно. Ишь ты!

На беду Нестреляев напрочь не умеет молча соглашаться с тем, чего не думает. В дворянском собрании, где он в последние годы ошивается, вечно придирчиво вынюхивает, часом не пахнет ли антисемитизмом. А в диссидентской среде расклад иной. Здесь он почитает себя обязанным блюсти интересы России. С обеих сторон ему и навешают тумачков. Сидит, надулся как мышь на крупу. Уж тут ему русофилировать никто не даст.

В памяти Нестрелева всплывают недавние отъезды товарищей с раздачей мебели и скарба. Надо было кротко слушать, как хорошо в обетованном Брайтоне, при том что душа его прекрасно знала, где ей хорошо, и не жаждала вовсе покрова благополучного изгнания. В случае коммунистической реставрации уехать не успеешь. А пока есть надежда, уезжать великий грех.

Пусть будет с ним то же, что с Россией, он загодя согласен. Вот и праздник пришел на его любовное терпенье. Теперь Нестреляев, найдя, как всегда, опору в своей же собственной душе, окончательно согревается.

Так, веселых и приятных мыслей полон, мой герой, уже довольно хорошо видный и мне, и читателю, крепко за полночь покинул приветливый дом. Пил он там, по своему обыкновению, всего ничего, и бодро поспешал к метро. Однако мне, летящей за ним чуть повыше тротуара, уж заранее ведомо из компетентных источников, что добраться до дому без приключений ему в эту ночь не удастся. Не такая это простая ночь, да и не такой простой субъект этот Нестреляев. На него пал выбор. Он сподобился. Ему предстоит принять участие в великих мистериях завершения тысячелетия. То в вышнем суждено совете. Но тише, он об этом еще ничего не знает.

На метро он успел, благо ему было без пересадок. Когда же вышел на улицу, сообразил без труда, что ждать троллейбуса в такую пору пустое дело, и пошел пешком, а это без малого час. Только того ждавшие тени прошлого и грядущего стали сгущаться вокруг него таинственным туманом, как ведьмы, завидевшие Макбета. Но он ничего не замечал. Он, интроверт, провалился в свои мысли. Шел по длинному мосту через окружную железную дорогу, и какие-то смутные фигуры увивались за ним. Забегали вперед, заглядывали в лицо, ловили за рукав. Но он, не видя, продолжал размахивать руками, и они отстали. Нестреляев думал свою дежурную мысль. О том, что, покуда он жив, есть кому любить Россию.

Ты, читатель, мне потом скажешь – ловленная сублимация это все. Другой любви не было в мыслях Нестрелева и в его убогом доме, куда он привычно торопился. Однокомнатная хрущевка на границе промышленной зоны казалась ему раем – он чудом выменял на нее комнату в коммуналке. А ту, в свою очередь, из милости оставила ему очередная жена при очередном разводе. Никто не ждет его, и бранить некому. Закрыты ставни, окна мелом забелены, хозяйки нет, а где – Бог весть, простыл и след. Все «они» рано или поздно – ох, нет, всегда рано, очень рано – становились Нестреляевым недовольны и глядели вон. Ему, умному, давно стало ясно, что природа, балансируя силенки двух полов, никак не рассчитывала на поздние времена существования человечества, когда земля перенаселена. О советских же условиях, в которых два инженера могут воспитать лишь одно дитя, если это вообще называется воспитать, она тем

более не догадывалась. Женщина, и то не каждая из попадавших в поле зрения моего героя, была непосредственно связана с ребенком единственный год в своей жизни. Зримое вырождение нации. Потом ясли, бутылочки, бюллетени. Стояние часами на лестницах в учреждении, где делать нечего, а уйти домой нельзя. Нестреляев кротко терпел беспричинное женское бешенство. Наконец устал и прекратил дальнейшие попытки устройства своей жизни. Невозможно вынести, когда от тебя все время чего-то ждут. Аще не Господь созиждет дом, все трудящиеся зиждущий. Не надо думать, что вот разведешься, женишься вдругорядь, и сразу все пошло на статью. С самим собой небось не разведешься, от себя не убежишь.

Ну вот, они уходили, несчастные эмансипантки, к новым иллюзиям и новым разочарованиям. Нестреляев, с его паршивым неустойчивым здоровьем, с детства голодный, во чреве матери пуганный, какое-то время отдыхал от их стремительного нахрапа. Маятник проходил положение равновесия и отклонялся в другую сторону. Начиналась ломка. Страшный электрический разряд всякий раз, как пытаешься заснуть. Одеревеневшие, не расслабляющиеся мышцы. Днем слабость отравления и волчья тоска.

Искать новую пару для Нестреляева было нож вострый. Тот же шопенгауэровский гений рода стерег его так строго, что ему мало кто нравился. Легкие связи у него не клеились – он умел только любить. Когда же пытался пересилить себя, ангел-хранитель не попустил и тут же наказал его мелкой заразой. В больнице был плач и скрежет зубовой, выколачивание так называемых «источников заражения». Вот куда следовало бы запустить правозащитников. Все это шло Нестреляеву как корове седло. Он оставил наконец попечение и научился терпеливо сносить одиночество. С чем его и поздравляем. Старость спешила ему на помощь. Крейслеровский вальс «Муки любви», столь фальшиво игравшийся в его жизни, немного попримолк. И тут Нестреляев спохватился – смерть встала перед ним во всей своей недосказанности.

Как человек не очень традиционно верующий, он не искал в ней прибежища. У него не были сделаны некоторые духовные распоряжения, и он не видел пути это уладить. «Плохо дело, – думал он, загибая длинными ногами. – Пока я жив, во мне Россия не престанет. А дальше ничего не просматривается». У Нестреляева был один сын и одна восемнадцатилетняя внучка. Не густо. Невестки тоже нет, уволилась по той же статье. Внучка уже живет в Германии. Сын на двух стульях, и тут и там. Но Нестреляев вовсе поставил на нем крест – своей единственной любви внушить ему он не сумел. Там, впереди, на Хорошёвке – дом, где сын рос с десяти лет. Нестреляев теперь живет близко, а сын ох как далёко.

Вообще, сын с внучкою на Нестреляева не похожи. Жадное одиночество снова пошло отыгрывать у Нестреляева все, что тому удалось с таким трудом отбить. Он безнадежно не вписывается в мир кондиционеров вместо полей с жаворонком и сникерсов вместо гречишного меда. В хорошо перемешанный мир без национальности вообще и без ильинской «русскости русского» в частности. «Экой ты, братец, ретроград, право слово, – укорил себя вслух Нестреляев и тут же поправился про себя, – нет, компьютер я все же люблю, хотя бы вчуже и издали. Удивительно, как далеко зашло дело с этим изобретением». Больше он не нашелся чем себя похвалить, и то не к месту. В огороде бузина, у Киеве дядька.

Однако ж советское околонучное учреждение в постсоветский период быстро охладило компьютерный восторг Нестреляева. На работе осталось единственное для всех применение – перегонять на мониторе куски набивших оскомину текстов, лепя новые отчеты по фиктивным научным договорам. Делать это мог любой грамотный человек, понимающий «ключевые слова» текста. Но уж больно было безрадостно. Нестреляев от этого старался самоустраниться. С удивительной последовательностью раз заведенная машина продолжала штамповать туфту – новую туфту в новых условиях. Нестреляева еще держали на маленьких полставки, поскольку он время от времени рождал на заказ какие-то тексты для дальнейшей многократной перегонки, а другие и того не могли. Все равно хорошего было мало.



Боже милостивец, сколько он за долгую жизнь переменял учреждений! Все одно – тоска ждала его на страже. Глупость и тупость тут же говорили: здравствуй, вот и мы! Начальники очень скоро начинали его недолюбливать. Эти две гармоники – отношения с женщинами и отношения с начальниками – прошли через всю его жизнь, превратив ее в подобие рваной киноленты. Потери работы провоцировали разводы, а разводы не давали сосредоточиться на работе, что приходилось делать, как бы бессмысленна она ни была. Да тут еще КГБ встревало. В общей сложности у Нестреляева не было ни одного спокойного года в жизни. Любовь и голод правили им, как и вообще миром, без милосердия. Чтобы вписаться в советскую и постсоветскую действительность, нужно было обладать другим набором свойств. Во всяком случае, надо было уметь делать вид, а это Нестреляеву не под силу. Сейчас он одернул себя, прекратил скулеж и стал думать о великой радости, ее же празднуем сегодня. Он мысленно принес в жертву долгожданному дню свою прожитую без пользы жизнь и подбил бабки без убытка.

Вдруг ему страшно, отчаянно, неудержимо захотелось бессмертия. «Господи, Нестреляев, какого тебе еще рожна? – сказал он вслух явственно. – Ты что, мало намучился?» И тут же про себя сбивчиво подхватил свою неведомо к кому просьбу: «Да, да, именно так, жить всегда. Увидеть, что будет с Россией, и вообще что будет. Как обнаружится, проступит наружу неведомо где записанная вселенская судьба наша, ради которой мучаемся».

Без пафоса не может. Не морщись, читатель. Говорю тебе – не я выбирала героя этой книги, а те силы, что не ошибаются. У них на Нестреляева какие-то виды. Выбрал же Воланд Маргариту.

Наш голубчик стал думать, какого такого бессмертья ему просить, как будто было у кого просить, будто это вопрос решенный – к кому адресоваться. На ум ему ничего не шло, кроме проклятого бессмертия Агасфера. «Вот его бы и спросить», – подумал Нестреляев довольно конкретно. Надо вам сказать, что он и мертвецки трезвый был не в нашем обычном здравом уме, а слегка за его пределами.

Собрав разбредшееся стадо мыслей, Нестреляев приискал и другие умозрительные виды бессмертья. У Карлоса Кастанеды – бессмертие и вечная молодость доньи Соледад, продавшей дьяволу души свою и нескольких взрослых детей, с их согласия. Бессмертие триллерного монстра, которому все время пересаживают чьи-то новые органы. Долгая, но все же не бесконечная реинкарнация душ. Наконец, заслуженное бессмертье высоко поднявшихся духом людей, своими силами пробившихся в тонкие миры и убежавших тленья. Оно бы лучшего и желать не надо, вздохнул Нестреляев, но – увы, страшнее и неизлечимее всего собственное несовершенство. По несовершенству своему и возжелал он, должно быть бессмертия. Сказал же философ Лопатин, учитель Ильина: «И жить хочется, и умереть занятно». Должно быть занятно и ему, Нестреляеву, несчастному малOVERу.

Очнувшись от этих и подобных им мыслей, Нестреляев вздрогнул. Ему вдруг показалось, что он умудрился не туда зайти. Пропустил поворот у бывшего Дома пионеров, что ли. Я еле удержалась, летя за ним, чтобы его не успокоить. Он шел туда, куда нужно, посреди пустой проезжей части улицы, как ходил по ночам. Просто кругом был туман, и не совсем обычного свойства. Но уже обозначились во мгле привычные силуэты хрущевок – чемоданы без ручки. Свое, милое, кургузое. Аура начала 60-х годов. Сделано вроде бы и паршиво, и неумело, но с добрым побуждением. Сделано человечно. Здесь до сих пор хорошо жить, хоть все валится и лопается. Над головой Нестреляева, чуть не задевши о крыши, протарахтел знакомый вертолет – директор военного завода в Филях летит со свиданья домой. Впереди над трубами ТЭЦ блеснула зарница. Нестреляев запел довольно мелодично: «Тайной грядущего небо мерцает в сумраке смутном неведомых бурь». Ах, как же он был прав, сам того не ведая! Вообще Нестреляев был человек вещий и мог время от времени обмолвиться несказанной правдой. При свете второй зарницы он разглядел, что идет в нужном направлении. И все же что-то было неладно. Он взглянул на часы – оказывается, плетется уже около двух часов. Уму непостижимо! Отнес

это на счет выпитого вина, с большой натяжкой. А с домом пионеров еще не поравнялся. Вот и церковь на обрыве сама зазвонила от порыва ночного ветра – еще далеко отсюда, идти и идти. Все это никак не вязалось одно с другим. Пока недоумевал по этому поводу, впереди замаячил довольно рослый, но расплывчатый и колеблющийся от любого дуновения призрак. Нестреляев тотчас ощутил в себе Гамлета и прибавил шаг, намереваясь у него попытаться все о том же, что занимает мысли человека в шестьдесят лет, читай о тайне жизни и смерти. Но фантом притормозил, обернулся жесткой маской вместо лица и проскрежетал: «Я – призрак коммунизма». Нестрелева как ветром сдуло. Надо же, опять бродит по нашему эльсинуру.

Преследуя оплошно столь не сродный ему признак, новоявленный гамлет и впрямь сбился с дороги. Он мигал в тумане близорукими глазами, ловя спадающие на ходу очки. Мимо, поигрывая оружием, с буйными возгласами прошагал рембрандтовский ночной дозор. Мой герой ущипнул себя, произнес с укором: «Наяву ль чудеса приключаются али вещие сны тебе грезятся?». Не успел ночной дозор удалиться, уж лучше бы остался – Нестреляев как раз с беспокойством обнаружил, что идет не один. Это не считая меня, меня он и видеть не мог – я в ту ночь была бестелесна.

Нестреляев не в шутку встревожился – времена как были разбойные, так разбойными и оставались. Опасливо косясь на пристроившегося к нему спутника, он однако ж понял, что это не кто иной, как вечный жид собственной персоной – в линялых цветных одеждах, пахнущих пылью всех эпох, в чалме, глаза опущены. Выражение лица не ахти какое приятное – как у гоголевского ростовщика на небезызвестном портрете. В общем, как говорится, *m'invitasti, e son venuto*. Эх ведь угораздило помянуть его – к ночи, ночью ли. О сером речь, а серый навстречь. Что ж, нет худа без добра. Можно бы его кой о чем пораспросить. Но Агасфер повел себя непредсказуемым образом: извлек откуда-то из складок своих одежд вполне современные наручники, преловко защелкнул на худых руках – своей и Нестрелева. Пошли они дальше молча, скованные одной цепью.

Реальность окончательно сдала позиции с появлением Агасфера. Сюжет, вольноотпущенный на все стороны мысли моей, понес, как норовистая лошадь. Я еле попевала за этой сладкой парочкой – обомшелым Агасфером и Нестреляевым, сухощавым аки трость ветром колеблемая. Поотстала, догнала, а они уж, слышу, идут и бранятся. Вечный жид разложил как на прилавке свое избранничество и пушит робкого Нестрелева на все корки – самым непозволительным русофобским образом. Ущемляет в национальном самосознании. Вас де там, в Европе не стояло. А его, бедного моего поднадзорного, и впрямь там никогда ни ногой не стояло. У меня хоть какая-то немецкая кровь. А его, невыездного, там видом не видывали. Как это я упустила. Но уж поздно, карте место. Русский, и все тут, только вот Агасфер его форменным образом доезжает. Поет ему фальшивя: «Зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в области балета мы впереди планеты всей». Требуем, чтоб Нестреляев похулил Россию, и постулирует: всякий, кто не хочет на Брайтон Бич, совок по определению. Нестреляев вздрагивает от вульгарного слова. Но России не чернит, держится. Ровным голосом возражает, что это его несчастная родина, что больше ему, Нестреляеву, и любить нечего. Всеведущий Агасфер возмущается: как так нечего? А сын, а внука? Нестреляев отмалчивается. Агасфер же кипятится, как Луи де Фюнес на экране, и уже шьет Нестреляеву антисемитизм за одно только это невежливое молчанье. Взыскивает с него советские долги и того гляди пошлет под новый нюрнбергский суд. Плохо дело. Нестреляев терпит аки Иисус Христос. Ему в этом альянсе суждено вечно отмалчиваться. Но Агасфер в любом случае подведет его под монастырь, молчащего или говорящего. Так они и идут, позвякивая наручниками, оба не свободные. Ни про какое бессмертье пока речи не заходило.

Что же делать, как мне освободить моего Нестрелева? Наручник давно натер ему костлявое запястье. Тут вижу – Агасфер ошую, а одесную в ногу с молчаливым Нестреляевым, едва задевая золотыми сандалями о сменившую асфальт мостовую, плывет его ангел-хранитель.

Вдруг мне открылось, что моего героя зовут Сергеем. Ладно, примем к сведению, а называть будем по-прежнему. Ангел как-то незаметно растворил наручник на левой руке Нестреляева, поверх часов, и сам растворился в тумане, только светлое пятно осталось, будто дальний огонек. Освобожденные друг от друга, Агасфер с Нестреляевым стройно взлетели поверх мостовой. У Агасфера за спиной явились крылья, как у летучей мыши. Он обрадовался и запел игриво: «Это месть летучей мыши...» На ногах его образовались ласты, которыми он весьма изящно греб. А Нестреляев полетел так, на одном энтузиазме, вытянув ступни в драных носках, ботинки же неся в двух руках. Надо бы связать шнурки, но Агасфер успел отобрать их при аресте. Взлетал Нестреляев трудно – разбежался, шлепая ступнями в носках о мостовую. Так при мне некогда тяжело взлетал лебедь в ботаническом саду, топоча по асфальтовой дорожке, как по взлетной полосе, жесткими ногами. Теперь и я туда же полетела за ними по-над мостовой, а мостовая была булыжная, и дома по обеим сторонам улицы – самого эклектического вида.

Агасфер казался приметно обиженным и долго не оборачивался к отставшему Нестреляеву. Наконец умиосердился, повернулся, хотя еще с лицом каменным, как у Михаила Козакова, и дал ответ на неизреченный вопрос нашего доморощенного философа. Пусть, сказал, не ищет личного бессмертья – пустое дело. Пусть старается изо всех сил что-то существенное сделать за те двадцать лет старости, что ему остались, и то не наверняка. Все равно старость скучное, бросовое время. Тут Нестреляев не стал спорить. Что ж, совет дорогого стоил.

Жаждающий ответа должен запастись терпением. Обладающему знанием приличествует важность. Чуть только Агасфер благосклонно разрешил сомненья Нестреляева, тот тут же исполнился благодарности, пристроился ему в хвост, и они дружно плыли в воздухе, как в фильмах Збига Рыбчинского.

Ну конечно, кругом уж было совсем не похоже на задворки проспекта Жукова. Нестреляев успел забыть про свою холостяцкую берлогу и не искал узнать окрестные предметы. В воздухе раздались мелодичные звонки, и заблудившийся трамвай, зависая, осклабил возле них умную морду. Они взошли на площадку – трамвай понес их к местам и событиям еще более странным. Были у него и остановки, на коих подсаживались все больше умершие друзья Нестреляева, а таких уже было – нетолченая труба. Но они хранили молчанье, будто их к тому обязывал некий данный обет. Границы жизни и смерти, похоже, стали стираться. А трамвайчик все плыл над неузнаваемым городом подобно вагону подвесной дороги, только на чем подвешен, того не было видно. Нестреляев подумал, что на том же, на чем свет держится, только на чем?

Вот так фортель – город, ставший уже вроде бы европейским средневековым, теперь отступил во времени к началу первого тысячелетия. Потянулись какие-то римские виллы, виноградники, акведуки, пыльные мощеные дороги. Трамвайчик проплыл над белой, щербатой и каменистой горой, чуть не скребя об уступы. Встал подобно летающей тарелке над большим углубленным то ли цирком, то ли античным театром. Тот был весь заполнен зрителями, располагавшимися слитными однородными группами. Мой бог, что за костюмы! Зрелище было не на арене, а на трибунах. Там шляпы с перьями, атласные рукава с прорезями, кружевные воротники. Здесь грешневики, кокошники, повойники, рубахи с ластовицами и сарафаны. Тут цилиндры, полосатые платья декольте, бархотки на шеях. Это прозрачные хитоны, а то бурки и папахи. Вавилонское столпотворенье, да еще и смешенье времен.

Трамвайчик все висел, а Нестреляев все глазел. Глаза видели неплохо, вот что странно. На арене же что-то происходило. Там стоял длинный стол и сидело нечто вроде тайной вечери, чуть поменьше числом – Нестреляев насчитал одиннадцать персон. Пока силился разглядеть лица, трамвайчик прилунился посеред этого цирка.

Сразу после посадки умершие друзья Нестреляева с похожими на них тенями прошагали поспешно к какому-то сектору трибун, где уж сидели подобные им персонажи. Проклятуций Агасфер крепко впиявился в руку Нестреляева и не упустил его пойти со всеми. Вечный

жид зловеще кашлянул, и все одиннадцать фигур развернулись к ним двоим. Мать Божия! Фритьоф Нансен, Альберт Швейцер, Луи Пастер, махатма Ганди, Лев Толстой, Франсуа Мари Вольтер, Авраам Линкольн. Какие-то двое, сошедшие с русских икон, кого Нестреляев с ходу идентифицировать не смог, но так решил по логике, что это, вернее всего, Сергей Радонежский и Серафим Саровский. А тот, с тонзурой, надо думать, святой Франциск Ассизский. Именно его бы тут не хватало. И наконец, во главе стола – Томас Мор, в мантии и с молоточком в руке. Им он и стукнул по столу, призывая к молчанью. Суд, ей-богу суд. Над кем же? Не над ним ли, незадачливым Нестреляевым, прожившим никчемную жизнь? Заступи, пресвятая Богородица! Тут Томас Мор, адресуясь к вечному жида, произнес голосом столь же суровым, как и его утопия: «Ты, осужденный на срок более чем пожизненный, осуществил ли ты привод обыкновенного человека?» Агасфер хмуро кивнул. «Оставь его с нами и поди скитаться». Агасфер дематериализовался, как, впрочем, и трамвайчик – его уже не было. А Нестреляев в замешательстве отметил, что на дальнем конце стола есть пустое место. О Господи! «Сядь и вникай в дело», – сказал ему Мор. Ничего другого и не оставалось.

Так вот начался параллельный суд над советским строем. В Москве своим чередом, а здесь, у истоков нашей эры – еще более страшный и неумытный, суд времени, суд времен. И мой Нестреляев попал в число присяжных, кои должны были вынести вердикт. Сидел среди людей разных веков, достойных высшего доверия. Он в их совет допущен был. Что делается! Видно, некто, выбиравший из штучных людей завершающегося тысячелетия наиболее подходящих для такой роли, замаялся и плюнул – пусть будет хоть один человек просто, послушаем и его в кои-то веки, для разнообразия. Ну, конечно, из более-менее разумных и непредвзятых. В общем, не знаю, не берусь судить, что руководило высшими силами. Но прими, читатель, во внимание: если двенадцатого присяжного хотели взять именно из России – выбрать было затруднительно. Все совестливое много раз скошили подчистую.

Конечно, и остальной список не обладал окончательной очевидностью, но все же. Обстоятельный Нестреляев вспоминал в деталях подвижничество, заблуждения, разочарования этих пассионариев. Вольтер потратил немалое состояние на сбор доказательств невиновности всех осужденных и казненных в результате признания под пыткой. Через много лет такой деятельности добился отмены пытки в судопроизводстве. Пастер, уже наполовину парализованный в результате своих опытов, продолжал испытывать на себе разрабатываемые им вакцины. Успел чик в чик довести их до совершенства, они и теперь служат. И все вот так-то. С кем он сидит за одним столом, ну и ну! Что-то масонское было в немногочисленном собрании посвященных, сосредоточенных на предстоящем разбирательстве и словно не замечавших трибун, переполненных остальным, менее дееспособным человечеством.

Гляди-ко, пошли, пошли – сначала обвинители, так их назвал Томас Мор. Этих немного, живых и мертвых – Андрей Сахаров, Александр Солженицын и еще горстка, все наперечет. Те, что схватились с режимом не на жизнь, а на смерть, когда тот еще был и жив и силен. Притихшие трибуны не пытаются их захлопать. Слушают и, похоже, понимают. Дар языков на них сошел, что ли.

Потянулся какой-то антипарад. А, свидетели обвинения. Дистрофичные, цинготные, с затравленными лицами. Хмурые, жилистые, всевыносящие. Господи, вон мать. Будто сошедшая с той единственной фотографии, у истоков нестреляевской жизни, когда она после трех лет лагерей приехала к отцу в ссылку накануне его второго ареста. Бледная, как полотно, с невидящим, отрешенным взглядом. Ну, взгляни, узнай меня чудом. Нет, не глядит. Исчезла в бесконечной веренице. А что видела этими остекленевшими глазами, суду не сказала. Сыну тоже не сказала, еще без малого семнадцать лет проживши и в одиночку до паспорта его дотянувши. Смятенная нестреляевская мысль самочинно потянулась к ссыльному детству, к скудным воспоминаниям о через силу живущей женщине, с трудом выкраивавшей для него время. Там он витал, и немного было от него толку суду присяжных, пока Томас Мор не постучал

персонально ему недремлющим молотком. Нестреляев насильно взбодрился и стал прилежно вникать.

Шли обвиняемые, под конвоем воинов разных времен и народов. Теперь тебе понятно, достойнейший читатель, куда спешил рембрандтовский ночной дозор по темной улице Народного Ополчения. Глянь-ко, Федор, электрик с какой-то из нестреляевских работ, в бабьем сатиновом халате, с козлиной рожей. Должно быть, стукач. Ну погоди, ты нам еще попадешься в этой книге. Дальше еще того хуже. Разговорчивый молодой человек с какой-то другой, давней нестреляевской службы. Внимательный, ох, внимательный слушатель. Как Нестрелева в те времена таскали. Таскали, и пугали, и безуспешно вербовали. А вон под руку две крупные дамы.

Университетские преподавательницы истории КПСС, моя и нестреляевская, мадам Холопова и мадам Холуёва. Эта последняя над не умеющим лгать Нестреляевым досыта наиздевалась. Я-то была поосторожней.

Здесь у Нестрелева возникло подозрение, что в позорной процессии на его месте разные люди, должно быть, увидали бы разное. Приведи Агасфер с улицы не его, а кого другого – иные лица явились бы в толпе и свидетелей, и обвиняемых. Ведь это перед ним сейчас дефилирует мелочь пузатая, сволочь обыденная. Кто-то показывает ему живые картины для освеженья памяти. И только он догадался, как косяк мелкой рыбешки иссяк и пошла крупная рыба.

Тут все оказалось намного труднее. От крупной рыбы шло жесткое отрицательное излучение. Плывет над ареною легонькая, давно не поновляемая ленинская мумия, в таком плачевном виде, что и земля не примет. Мертвецы встанут и земля содрогнется. Господи, держится, как поплавок, голова кружится глядеть. Троцкий с разбитым черепом – след кровавый стелится. Сталин – маленький, невзрачный, во всем своем узколобом убожестве. А трибуны вдруг стали на глазах выцветать, блекнуть. Все гуще забелели черепа и кости, подернув толпу белой плесенью. Физически потянуло забытым страхом. Он сжал сердце, потом провалился куда-то в живот. Перед длинным столом шаркают непослушными ногами о песок серые костюмы с галстуками. В крахмальные воротнички вправлены обтекаемые лица, что тянулись, бывало, портретами по краю ржавых крыш. Нестреляев с трудом перемогался от дурноты.

Ну конечно, Воланд Маргарите дал намазаться какой-то мазью для придания сил в трудной роли. А Нестреляев остался намазанным. Какое-то время он скрипел, как намазанная телега, потом его от природы некрепкие силеньки все вышли. Уж не ему бы по застенкам пытки терпеть. И не ему сидеть за одним столом с титанами. Выходит, не совсем того человека изловил Агасфер этой ночью в московском районе Хорошево-Мневники. В общем, наш герой потерял сознание.

Когда с ним такое случилось, он как бы вылетал со страшной силой в какую-то бесконечную воронку, выдуваемый адским вихрем. Так что он уже знал кое-что о том свете. Это где-то совсем не здесь – человек уносится туда со скоростью света. И как долго Нестреляев там пробыл, оценить он не мог. Но пришел в сознание в тот самый момент, когда Томас Мор с вопросительной и строгой интонацией начал следующую длинную тираду: «Виновно ли Оно в корыстном обмане, предательстве надежд человечества и величайшем его разочарованье, во всеобщем оболваниванье, неслыханном зверстве, истреблении целых народов, и прежде всего русского народа?» Услышав последние сии слова, Нестреляев встал не по чину, первым с конца стола. Встали обе половины его раздвоенного существа – диссидентская, реформистская, жаждущая неведомого справедливого мира, и русофильская, консервативная, ищущая чести отечества.

Никто не сделал ему никакого запретительного знака. Он сказал громко и не по обыкновению своему твердо: «Да, виновно. Пусть отчаится и умрет». И длинный стол тайной вечера сразу исчез. Где-то на краю большой арены, куда Нестреляев впервые взглянул, шли бои гладиаторов и уж близились к концу – сейчас Кутузов теснил Наполеона, а Сталин Гитлера. Но

пропали и они. Посыпанная песком арена сделалась песчаным островом, трибуны опустились, людское море на них заходило волнами морскими – эх я, визионерка! Парусное судно, вибрируя тонкими мачтами, подлетело по воздуху, встало легким облачком над островом. В нем было всего понемножку – от пьяного корабля Артюра Рембо, воздушного корабля из Цедлица и летучего голландца со свистом. Оно сбросило трап прямо к ногам Нестреляева. Тот решил, что душу его отпускают на покаянье, и даже с честью.

Агасфер, порученец могущественных сил, уж был на борту, укрутившись приличествующим случаю головным убором. Нестреляев ступил на поданную дощечку с поперечинами вроде тех, по которым лазят, чиня крышу. Взошел на палубу – и корабль поплыл! Агасфер же изобразил из себя фею сирени, везущую принца Дезире. Он обводил окрест округлыми жестами и делал сладкие глаза. А кругом простиралась в трепещущем мираже земля обетованная. Белорунных ручьев Ханаана брат сверкающий – Млечный путь – тек под килем. Нестреляев вошел в роль принца. Вокруг него была сказка для впавших в молодость.

Только вот земля обетованная все больше походила на Россию. Точно, Россия. Затопленная, давно молчащая колокольня в Калязине зазвонила посреди Волги. Нестреляев слышал, как сшиблись два ветра и задирали друг дружку удалыми словами в вышине. Где-то в стороне летел смерч, и березы лежали, зря Божий гнев. Губы Онега вытянулись, целуя север. Уже довольно светлая ночь стояла над водой. Потом неслись на всех парусах над ледяным морем, тюлень переползал на брюхе из одной проруби в другую, оставляя мокрый след. Снова оседлали северный ветер, и вновь под ними зеленеет удивительно пустая земля.

Куда-то попрятались города с дымными заводскими пригородами, подевались шоссе, и железные дороги не состоялись, а обошлось тихими проселками. Сколько ни гляди, во все стороны простиралась деревенская Россия. Весна уж начиналась, береза распускалась – а! Хорошо, светло в мире Божиим, хорошо, легко, ясно на сердце. Идет, гудёт зеленый шум, зеленый шум, весенний шум. Ручьи текли, чуть парил зной и зелень рощ сквозила. В общем, было для всех хорошо, хорошо по-крестьянски и по-господски. Кораблик поплыл над курящимися полянами, над петляющими равнинными реками, рисующими свой таинственный узор, пишущими свое зашифрованное сообщение для прилетевших неведомо откуда таких вот корабликов. Нырнули под арку радуги. Разминулись с летящим навстречу воздушным шаром. Из его корзины им кто-то весело замахал рукой.

Нестреляев с удивленьем вспомнил, что у него когда-то были какие-то заботы, что-то болело. Кажется, спина, поясница, колени и все зубы вдруг.

Тут Нестреляева кольнуло в сердце. Летели над рекой, у реки виднелся дом, уж очень знакомый. Будто много раз в жизни оглянулся он на него, покидая, и много раз с радостью увидел издали, возвращаясь. А надо вам сказать, что никакой дачи, никакого загородного дома у него никогда не было, ни на каком отрезке ломаной его жизни. И близко ни у кого не было – все его родные и друзья были бедны как церковные крысы, честной робертбернсовской бедностью. Ему во сне снилось – он всегда летел над таким вот домом, не имевшим никаких особых примет. Все, что можно было про него сказать, так это то, что у него была крыша, и стоял он весь в зелени, в низине, у реки. Нестреляев срамил себя словами из манифеста футуристов: «Вы хотите иметь дачу на реке? Стыдитесь, такую награду судьба дает портным». Однако устыдить самого себя Нестреляеву не удавалось, и он желал, желал страстно – это оставалось практически единственным его желаньем – просыпаться в прохладе и не думать с тревогой, что через два часа солнце раскалит его келью, надо срочно переделать все дела и ушиваться отсюда до позднего вечера.

Так вот, это был тот самый дом, описать который Нестреляев ни за что не смог бы – из его постоянно повторяющегося сна. Он увидел выходящую из дома женщину, также не имевшую особых примет – была в весьма длинной юбке и с заколотыми волосами, но это немногим больше, чем сказать, что дом имел крышу и стоял в густой зелени. Однако ж это была она,



потому что сердце его защемило не на шутку. В параллельной, зазеркальной реальности существовал его дом, и в нем всегда жила и, наверное, даже старела потихоньку его любовь, лица которой он не мог разглядеть. Нестреляев подумал, что, должно быть, уже умер и, паче чаянья, попал в рай. Ему было свойственно чисто испанское сопряжение понятий любви и смерти. Я из рода древних азров – полюбив, мы умираем.

Тот ли, этот ли свет светил Нестреляеву снизу, от реки, от стекол его дома – только он притупил внимательным слухом к голосам птиц. Птицы были не райские, но обычные пичужки среднерусской полосы, поужнее Москвы. Они пели прямо в саду – в его саду! Нестреляев весь зашелся от восторга. Приглядевшись сверху, увидел чудо – цветы в этом раю цвели все вместе. Подснежники, первоцветы, фиалки, барвинки, ландыши, купавки, черемуха и вишни. Бурная весна опережала самое себя в нескончаемой щедрости. И такая же щедрость счастья переполнила душу Нестреляева. Он запел чуть что не в полный голос: «Сияй же, указывая путь, веда к непривычному счастью того, кто блаженства не знал, и сердце утонет в блаженстве при виде тебя». Пока он эдак-то заливался, облачка над домом – белые, перистые – сложились в легкую фигуру. Нестреляев подумал, что это его ангел-хранитель летит, оберегая безмятежное счастье своего подопечного в параллельном мире. Но не тут-то было. Батюшка, светлый царь! Видно, людское-то счастье ненадолго.

Подул ветер. Сильный и требовательный, прилетевший с края света. Такой, от которого большой пароход должен отстаиваться на месте в бухте, разведя пары до упора. А легкому виденью, на котором они плыли в потоках воздуха, разборка с таким ветром была явно не по силам. Их стало неудержимо сносить. Нестреляев хотел было катапультироваться, но неусыпный Агасфер вцепился в него железной хваткой. Бедняга мой понял, что каникулы его кончились. Неуютная вечность снова предъявляет ему жесткие требования. Что ж, самое время подумать среди облаков, как жить дальше. Надо что-то делать совсем бескорыстно, что-то такое, что остается. Хулы не будет. А и хвалы, похоже, не будет. Не нужно быть пророком, чтобы предсказать, что и славою он будет дурно любим.

Что ж такое оставить? Сын и внучка не в счет, это только игра в прятки с вечностью. Я де ничего не успел, но на мне род не кончился. Ну, формально кончился на твоём сыне. Выручил тебя сын? Оставил хоть что-нибудь за тебя во времени? Ох, как садит этот ветер вечности. И лицо у Агасфера такое глумливое. Что ж, он так и будет катать своего беззащитного пассажира? Или теперь кроме вечного жида существует еще и вечный русский? Надо постараться как-то обернуть это ко благу России. Ну конечно. Неминуемо пришла ему на ум его единственная любовь. Уж ее-то лицо он знает, этого у него не отнимешь.

Лицо России. Кто о чем, а мы с Нестреляевым о ней. Ее лицо глядело на Нестреляева – ну ладно, Сергей Сергеич он был, чтоб два раза не звать его Нестреляевым, хотя теперь вышло два Сергея и нехорошие инициалы С. С., – глядело из спокойного северного неба. Кому на свете, кроме этого одновременно дикого и сверхтонкого, сверхчувствительного народа, ничего не надо, все немило, все постыло, кроме страстной жизни духа? Что еще остается в неприкосновенном запасе у человечества, кроме невостребованного потенциала гениальности вечно обделенных людей этой Богом забытой страны? Какая сияющая судьба ждет этот народ в следующем тысячелетии, если, по закону колебаний пружины, великое его стеснение обернется сильным рывком? Что более интересного таят в себе будущие времена, нежели тот путь, который изберет Россия?

Пока Нестреляев забавлялся такими сладостными похвалами в адрес своей возлюбленной и ее сыновей, суровый Агасфер увлекал его все дальше меж холодных, живописно закрученных свежим сиверком облаков. Несет меня лиса за темные леса, за высокие горы, в глубокие норы. Ох и лиса этот Агасфер! А ведь какой прикинулся доброй феей! Чертов космополит! И космическим холодом садит через ледовитый океан, сквозь разреженный воздух, из рокуэллентовской Гренландии. А Нестреляеву и без того неуютно. Ладно, полно ныть, все мы у

Бога сироты. Кабы только я знала, куда это они таким манером, на всех парусах, летят. Но я неопытный литератор, я вообще математик, коллега доктора Доджсона. Тот, пустив Алису вниз по кроличьей норе, понятия не имел, что ждет бедную крошку внизу.

Тут откуда ни возьмись налетел южный ветер. Он решил мои сомнения – они летят через северный полюс в Америку, как Чкалов в 37-м году. И уж тут не то что один тюлень, а целые стада моржей, с ужасающего вида клыкастыми жожаками, прогуливаются по льдинам. Кой-где печально темнеют замерзшие тела отважных первопроходцев полюса, и души их провожают воздушный корабль, вращаясь в тонких сферах повыше его траектории. Наш герой не растерялся и передал им привет от своего нового знакомого Фритьофа Нансена. Их радостные ответы зашелестели о палубу звонкими кристаллами льда.

А мне той порой было поведено в шуме ветра, что за океаном (подразумевается в данном случае Ледовитый) начинается второе действие мистерии некалендарных проводов тысячелетия, завершаемого судами в Москве. Ныне отпускаешь. Времена меняются, не по календарю, но по сути. В Новом свете ждет Нестреляева встреча сразу с двумя народами – малым народом Брайтон Бич и великой нацией, родившейся в скандальном фильме Гриффита.

Господи, куда же этих двоих еще занесет? Не душа ли Джонатана Свифта вселилась в меня? Первые эскимосы уж замахали им руками из своих каяков с небольшого пространства прибрежной свободной ото льда воды. Должно быть, подробности их прибытия будут долго передаваться в местных сказаньях. И вот уж под ними шумят березы Канады – хоть похоже на Россию, только все же не Россия. Бывшие советские партийные евреи, коих в Соединенные Штаты не впустили, а впустили токмо в Канаду, приветствовали проплывающего над ними Агасфера довольно сдержанно. Вот еле выраженная граница и прохладный Вермонт – зима и лето, все как положено. Наших воздухоплателей окликнули из тонких сфер – Агасфера и там уже томящийся Иосиф Бродский, а Нестреляева – залетный Владимир Набоков! Нестреляев удивился – не много ль ему чести. Но, видно, кто-то, координирующий оттуда успехи российской словесности, уже внес нашего С. С. в свою картотеку. С какой это радости? Вокруг него вновь стало собираться облаком неведомое предопределение.

Теперь пора сознаваться, что Нестреляев писал. Писал всегда, сколько себя помнил. Поначалу, как водится, стихи, а прозу лишь с недавнего времени. В общем, в его роду все держали перо в руках, с переменным успехом. Но поскольку от рода как такового в России остался он один, вялотекущий процесс обострился. Призвание замкнулось на него, как на острие громоотвода.

На самом деле Нестреляев уж давно писал хорошо, но то ли об этом не догадывался, то ли забывал, почитая свое занятие приватным. Он не носился со своими талантами. Его чувство собственного достоинства давно было загнано в дальний угол. От каждого нового оскорбления, нанесенного жизнью, он надолго переставал писать. Воскреснет или нет – никогда нельзя было знать заранее. Сил ему едва хватало на обыденную жизнь. Слишком природа натянулась, произведя его на свет. К тому же он был довольно замкнут и знал как следует только себя самого, что для писательского дела губительно. И выйти к людям с чем-либо написанным для него с его комплексом неполноценности было нереально. А тут вдруг его поприветствовал такой не тароватый на общение дух. Это неспроста.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.